

Светлой памяти моего мужа Миши

*Ностальгирующим по Советской
империи посвящается*

Господа, что за шум слышен? А-а-а... Это темные воды совка с тяжким грохотом подкапывают к изголовью. Я приподнимаюсь и вглядываюсь в их даль. Странное чувство. Вроде вижу мир, в котором жила. А мира этого больше нет. И меня там, соответственно, больше нет. С ужасом ли я вспоминаю происходившее в той реальности? Вижу ли я ее в каком-то особом свете? В течение долгих лет я оценивала свою жизнь в Советском Союзе, да и сам СССР, скорее отрицательно. А потом вдруг поняла, что судьба сделала мне неоценимый и мной недооцененный подарок: я жила на другой планете, в мире, который не вернется.

Я не хочу вернуть Советский Союз. Не хочу воскресить мертвых — они мне ничего не скажут. Нет того странного мира. Нет тех людей, которые плыли рядом со мной по его мутным волнам. Нет того мирка, в котором я не без успеха пряталась от ударов этих волн.

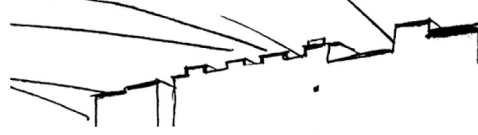


Утром 7 ноября 197* года я проснулась поздно и с чувством счастья. Почему-то на бабушкином диване. Бабушка всегда вставала рано, и я, внезапно проснувшись, перебралась на ее диван часов в семь утра.

Из репродуктора на улице неслась песня на стихи убитого при Сталине поэта Бориса Корнилова: «Нас утро встречает прохладой...» Она усилила ощущение счастья. Я знала, что в этот день была демонстрация. Репродукторы, подвешенные на углах нашего большого многоквартирного дома, включали только в праздничные дни: 7 ноября и 1 мая.

Через короткое время мы с мамой вышли погулять. Спустились на Свердловскую набережную. По ней за несколько часов до нас прошла демонстрация. Протекла большой рекой — пышным шествием, неся огромные бумажные гвоздики, портреты вождей, какие-то лозунги и прочую советскую символику. На мостовой лежали обрывки пышных фальшивых цветов, маленькие флажки со сломанными древками, чей-то растоптанный раскидай из фольги...

Не было больше на улице праздничных людей. Остались только их следы, которые вскоре уберут.



И вдруг я ощутила прилив счастья.

Так почему же я почувствовала себя такой счастливой? Что это было? Почему я мечтала о том, как, взрослая и красивая, пойду в этих колоннах? Как буду весела, как запоет моя душа...

Господи... Ведь меня же пару лет назад водили на демонстрацию. Еще и в лучшее время года — на Первомай. И что я помню? Что я маленькая. Что всем по пояс. Что скучно. Что все скандируют какие-то не воодушевляющие глупости. Некоторых — счастливых — девочек несут на плечах. Меня нести некому, поэтому я вижу пряжки чьих-то брючных ремней. Зато слышу явственно, как кричит какой-то глашатай на трибуне:

— Кировский завод!

Часть толпы (видимо, состоящая из работников Кировского завода):

— Ура-а-а!

Глашатай:

— «Красный выборжец!»

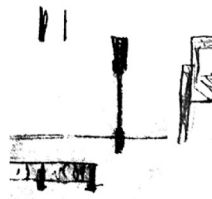
Труженики — «красные выборжцы»:

— Ура-а-а!

— Научно-производственное объединение «Буревестник»!

Колонна маминого предприятия, в которой мы идем, дождалась кульминации действия:

— Ура-а-а!





Я хочу домой. Я очень устала. Да, есть счастливые девочки, которых мужчины несут на плечах...

А тогда... В тот ноябрьский день я проснулась от счастья.

А потом шла по улице. Тут был праздник. Он был здесь. Он прошел без меня.

Тогда я хотела стать частью той веселящейся толпы. Решила, что в будущем-то году пойду обязательно. Но и на следующую майскую демонстрацию не пошла. Не помню почему.

Так я на демонстрацию больше и не попала. Когда стала постарше, мне стало очень лень вставать рано, переться куда-то, где формируются колонны демонстрантов, маршировать в толпе. Нынче я вообще боюсь толпы.

Много лет понадобилось для того, чтобы я поняла: праздника не было. Я ничего не пропустила и никуда не опоздала в этой советской жизни.

Дедушка, небольшого роста, очень худой человек с длинным острым носом, выглядящий как старый аристократ, если бы не советская



одежда, суетится на кухне. Я понимаю: он обихаживает себя и свое драгоценное здоровье. В нашей семье главная ценность — здоровье дедушки. Все остальное вторично и меркнет на фоне этого сложного сооружения. Спорить нельзя: в иерархии семейных ценностей приговор любой другой ценности окончателен. И обжалованию не подлежит.

Бабушка всегда где-то рядом. И тоже делает что-то важное и нужное для поддержания дедушкиного здоровья и налаживания быта. У бабушки пальцы изуродованы полиартритом. Она говорила, что раньше руки очень болели и опухали. А потом, после того как каждый палец выболел, он остался вот таким — толстым и уродливым. На руках у нее нет колец — даже обручального. У нее вообще нет колец — дедушка ясно объяснил, почему: драгоценности — это мещанство. Несмотря на то что в 1970-х советские граждане активно украшали себя золотом и серебром. И им даже была не чужда мода на определенные серьги, кольца и цепочки, тонкой струйкой какого-то ветра просочившаяся к нам с Запада.

Но бабушка ловко управляет своими испорченными болезнью руками. Она не жалуется. Но иногда смотрит на свои кисти и сетует:

— Раньше мне все говорили, что у меня пальцы как у пианистки.



Констатирует не то чтобы очень горестно. Вообще бабушка уравновешенный человек. Она практически не рефлексировать. Дает происходящему оценки. Иногда радуется. Иногда возмущается. Иногда вздыхает. И спокойно идет дальше. Думаю, такой склад психики и нервной системы — залог спокойной жизни. Правда, творчество рождается из чего-то другого. Так бабушка им и не занимается.

На моей памяти она занята другим.

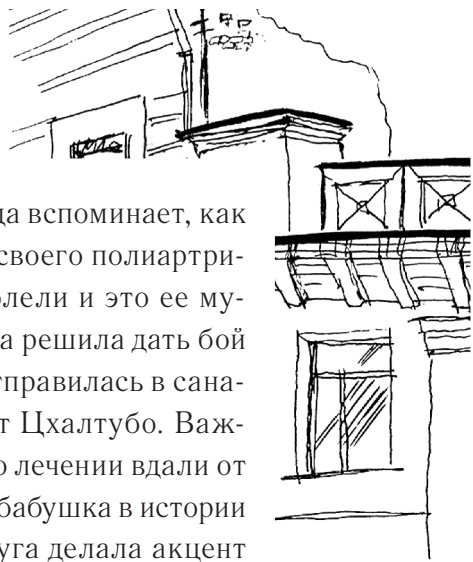
Она занята дедушкой.

А дедушка занят собой, борьбой за более-менее благоустроенный быт и приличное состояние здоровья; а также потреблением произведений искусства и наблюдением за жизнью.

Его день забит делами до секунды. Список своих дел он то и дело объявляет. Надо ошпарить посуду. Сварить кашу. Сходить в аптеку за витаминами: сегодня заказ будет готов. А вечером еще и рыбу нужно почистить.

В расписание может вмешаться нечто неожиданное, типа футбольного матча.

На первый взгляд, жизнь советского человека состояла из унижительного мельтешения, цель которого — обеспечение нормальной жизни. Получения того, что в нормальной стране гражданин получает по умолчанию.



Впрочем, бабушка иногда вспоминает, как в еще в младенческие годы своего полиартрита, когда пальцы сильно болели и это ее мучило, особенно по ночам, она решила дать бой болезни. И в одиночестве отправилась в санаторий на грузинский курорт Цхалтубо. Важнейшую мысль ее рассказа о лечении вдали от дома я упустила, потому что бабушка в истории попытки избавиться от недуга делала акцент на другом: она поехала туда одна. Без Иосеньки. И больше она не поедет туда никогда, потому что Иосеньку оставить не может. Дедушка этот пассаж не комментировал — воспринимал жертву как должное. Какой-то наивный читатель скажет: муж, которому за пятьдесят, — не грудной младенец. Почему бы его не оставить в родной квартире на месяц и не заняться своим здоровьем? Ха-ха. Вы не знаете, что такое жертвенная любовь. Дедушка то ли не понимал, то ли делал вид, что не понимает, как организовывать свою жизнь, свой хитро устроенный быт без жены. И с какой стати она должна уехать? Так дело не пойдет. И — главный парадокс — в этой странной жертвенности бабушка была счастлива. Счастлива тем, что она рискнула, съездила в Цхалтубо, дед не умер. Но можно ли еще так рисковать?!

А где же душа?

Почему такие приземленные планы?



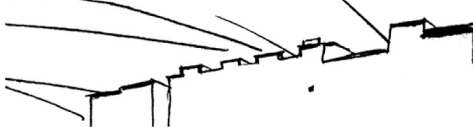
Ну ладно, оставим на время разговор о физиологии. И поговорим о жизни советского духа.

Именно духа, а не души. Слово «дух» гораздо больше присутствовало в советской риторике. Дух советского патриотизма. Сильные духом герои. Дух свободы, которого не дано почувствовать несчастным, живущем на Западе.

От души, несмотря на поэтичность ее образа, по мнению коммунистов, пахло чем-то поповским. Этого тогда не любили — в стране победившего атеизма главным богом был Ленин.

Впрочем, дух парил. Речь не о чугунном духе из советской риторики — он в принципе парить не может из-за огромного веса. Дух человеческий был убежищем от всего страшного, что творилось в империи. И к духу советского патриотизма имел такое же отношение, как тяжкий чугун к невесомым перышкам.

В семье в сторону советского духа делались обязательные реверансы — так, на всякий случай. На верхних полках книжного стеллажа у нас стояло собрание сочинений Ленина. Не помню, чтобы кто-нибудь из членов семьи в здравом уме решил освежить в памяти, в чем состояли задачи союзов молодежи, как им ре-



организовать Рабкрин или как глубоко партийная литература должна была коррелировать свою деятельность с партийной организацией. И ознакомиться с еще какой-нибудь из бредовых фантазий неудачливого адвоката Ульянова, игнорировавшего истинные свойства человеческой природы. Но собрание стояло. Пылилось. Играло две роли одновременно: реверанса в сторону власти, если что; и все-таки — или все еще — хранилища истины, которую не поняли, извратили, перевернули, от которой отступили. Такого не то чтобы закрытого хранилища: хочешь — читай хоть до умопомрачения, но в которое никто не заглядывает. Как банка с маринованными огурцами, которая долго ждет своего — почти несбыточного — праздника. И пылится, пылится, пылится...

Дедушка большую часть своей жизни в Ленина верил. И Ленину верил. Старый вопрос, как умный человек может быть сталинистом, в его случае логичнее перефразировать: как умный человек может быть коммунистом? Но это потом.

До перестройки он с истинной убежденностью говорил, что СССР был бы совсем другой страной, не скончался Ленин так рано — в 1924 году.

Какой? Наверное, стоит начать с того, что случилось после прихода к власти Сталина.



В нашей семье Отца народов ненавидели всегда. И задолго до его смерти. И после нее. Ненавидели и ненавидим мы его люто. Такой черной и лютой ненавистью, которой только может ненавидеть человек.

Он не принес в жизнь ни семьи, ни страны ничего хорошего. Если что-то положительное при нем и случилось, то это могло произойти и без него. Автор всего плохого — именно он. И никто другой. Отправной точкой ужаса, который взрастил такую личность, как мой дедушка, был именно его тезка Иосиф Джугашвили.

Знаете, меня всегда пугают эти семейные легенды: офицеры, сфотографированные в форме со всеми орденами. А сзади — доброе лицо генералиссимуса ухмыляется с портрета.

Дедушка носил орденские планки. Иногда он раскладывал ордена и медали по обеим сторонам пиджака. Звал меня и комментировал саркастически:

— Маша, иди посмотри на мой иконостас.

Дед был стопроцентным атеистом. Любую церковь считал опасной организацией, а религию — способом манипулировать общественным сознанием...

Конечно, тогда нарциссизм не был такой то ли распространенной, то ли бесстыдно демонстрируемой болезнью. Но я же помню ветеранов в военной форме, увешанных наградами.